

«Я испытываю величайшую гордость оттого, что меня перевели на русский язык... Про-закки всего мира всегда с благоговением думают о том, что написанное ими переведут на русский».

Так заявляет Уильям Сароян в предисловии к сборнику своих рассказов на русском языке «Меня зовут Арам», который готовится к печати.

## ПОРТРЕТ НА ФОНЕ НОВОЙ КНИГИ.

## УИЛЬЯМ САРОЯН

— В предисловиях к вашим книгам, в частности к тем, которые издавались в нашей стране, имя Уильяма Сарояна не раз ставили рядом с Хемингуэем, Фолкнером, Стейнбеком. Как вы себя, так сказать, чувствуете в такой могучей компании?

— Очень любимыми мною Марк Твен говорил: «Если вы не хотите загромадить свою память, говорите правду». А правда такова: мне лестно находиться в такой компании. Но, с другой стороны, мне непонятен смысл перечня. Любый список — это что-то вроде спортивной информации. А литература не есть соревнование по легкой атлетике. Одну творческую индивидуальность нельзя сравнивать с другой. Я вообще старюсь не попадать ни в какие списки, сколь бы «лестными» они ни были.

— Вам недавно исполнилось 70 лет. Вы приехали к нам после своего юбилея и в разгар большого праздника — 150-летия вхождения Армении в состав России. Были гостем на торжественном вечере, посвященном этой знаменательной дате. Не могли бы вы рассказать о своих впечатлениях?

— Подобные мероприятия для меня непривычны. Но те-

перь я скажу, что был бы обкраден в своей жизни, если бы не увидел все то, что увидел собственными глазами. О впечатлениях нельзя рассказывать. О них, скорее, нужно молчать. Или писать. Причем писать для себя. Что я и сделал. Но уж коль заговорили, не скрою — я был поражен. Я присутствовал в зале все пять или шесть часов, и время это для меня прошло, как миг, как единое мгновение... Министр обороны могущественной страны, Маршал Советского Союза Дмитрий Устинов с трибуны говорит об успехах Армянской республики, зачитывает Указ, подписанный самим Леонидом Брежневым, прикрепляет к Знамени республики высшую награду державы — орден Ленина. Это надо было увидеть, надо было прочувствовать и осознать... Я подумал об армянах, живущих на чужбине. Они лишены самого прекрасного человеческого чувства — чувства причастности к родине. К родине, где жили твои предки тысячами, подраяд. Я думал об обездоленных братьях и сестрах, разбросанных по свету...

— Как я понял, вы записали свои впечатления для себя. Но ведь профессиональные писатели, как известно, пишут в основном для других...

— Вообще я думаю, что не только профессиональный писатель, но и каждый, что называется, простой смертный должен писать. Особенно после семидесяти. Пишущий лишь тогда вызывает жалость, когда он хочет всеми правдами и неправдами напечататься.

— Для чего же писать, если читать некому будет?

— Почему некому? Прочтут родные. Ведь человек, взявший перо в руки, сосредоточивается и хочет изложить на бумаге наиболее важное. А из всего того, что наиболее важно для одного, могут быть мысли, важные и для других. И пусть сын или внук обогатятся этими мыслями. Я часто перечитываю голливудский «Шинель». Гоголь заметил Акакию Акакиевича — и обессмертил его. И сейчас всякий раз, когда я приезжаю в Ленинград и прогуливаюсь по Невскому, мне кажется, где-то рядом прохаживается Акакий Акакиевич или его потомок. Но чтобы разглядеть такого человека, нужно иметь талант Гоголя. А представьте себе, что человечество располагало бы записями, мыслями самого Акакия Акакиевича! Я думаю, это

армянском республиканском издательстве «Советанам грох». Предисловие по-мечено: «Ереван, 6 ноября 1978 года». Большой американский писатель провел тогда в нашей стране около сорока дней, побывав в Москве, Риге, Одессе, много ездил по Армении, а на прощание дал интервью, которое публикуется ниже.

Кроме интервью, мы предлагаем вниманию читателей

главы из новой книги Сарояна «Случайные встречи». Книга эта посвящена нашим современникам — писателям и поэтам Советской Армении. Она представляет собой свободные записи сродни дневниковым (судя по всему, они и делались в разные годы): Сароян вспоминает о сотнях и тысячах тех, с кем он, порою мимолетно, сталкивал-

ся на жизненном пути, рисует их миниатюрные и размышляет — о людях и о себе, о жизни и творчестве.

Каждая случайная, непреднамеренная встреча, учит нас Сароян, оставляет след в душе, отзывается в ней, как музыкальная фраза. Перебирая воспоминания, переходя от встречи к встрече, от фразы к фразе, писатель складывает из них мелодию, которую можно смело назвать главной во всем его творчестве, — мелодию всепоглощающей веры в человека, любви к нему. В новой книге эта мелодия звучит истинно по-сарояновски — возлюбленно, проникновенно и тепло.

вее. Мы встретились с ним, когда его слава уже клонилась к закату, и сидели за столиком вместе со старым его приятелем Джорджем Джином Натаном. Мы говорили о нью-йоркском театре, о лондонском театре, а потом я рассказал ему о настоящем театре — о театре, существующем в каждом доме, в каждой семье, особенно американской.

Или если ты не хочешь писать об этом веселом джентльмене, тогда почему бы не написать о Беннете Серфе — ведь он был издателем твоей первой книги! Скажи два-три теплых слова о человеке, который без устали переезжал с места на место — изо дня в день, на протяжении всей своей жизни, и притом сколотил капитал миллионы в восемь чистых. Часть этих денег он заработал сборниками шуток, которые печатали другие издатели. И каждая книга становилась бестселлером, принося солидный доход как издателю, так и самому собирателю. Собственно, это и было подлинным признание Беннета — собирать шутки да еще придумывать каламбуры.

Однажды, в 1935 году, то ли по пути в Европу, то ли по возвращении из первой для меня европейской поездки, мы с ним бродили по Нью-Йорку, и он буквально засыпал меня каламбурами. В конце концов я не выдержал:

— Послушайте, неужели никто из ваших друзей не грозил, что прикончит вас, едва вы произнесете еще хоть один каламбур? На что Беннет Серф невозмутимо ответил:

— Еще как грозил! — и друзья, и враги. Прада, свой ответ он вновь облек в форму каламбура, которого я, к счастью, не запомнил.

Так почему бы не написать о Беннете Серфе?

Не хочу, и всё тут.

Ладно, тогда напиши о ком-нибудь, кто не стал знаменитостью, кто не сумел сколотить восемь миллионов.

Ну что ж, пожалуй, я и впрямь напишу о парне, который стоял у входа в пустой магазин на Маркет-стрит в Сан-Франциско и продавал книгу о тайнах мироздания.

У него был такой подвижный рот, каких я никогда в жизни не видел: рот двигался без устали, притом с такой интенсивностью, что каждое слово не просто произносилось, а исполнялось, обрабатывалось каждым мускулом лица. Мой брат Генри, прослушавший вместе со мной всю четырехминутную речь-песню, пред-ложил

# ИЗ МИЛЛИОНА ЛИЦ

Как же мне было не ненавидеть его?

Но с течением времени я позволил ненависти остынуть. У Дэвиса было одиннадцать детей. И ни один из них не умер. Армянские семьи, нарожавшие столько детей, обязательно теряли четверых, а то и пятерых, что-нибудь в таком духе. Он был всего лишь представителем распространенной породы здоровенных глупцов, и у меня не осталось теперь ни малейшего желания ненавидеть Д. Д. Дэвиса, почившего многие годы назад в возрасте сорока восьми лет. Его сыновья и дочери сами стали сегодня отцами и матерями, бабушками и дедушками, а то и прабабушками и прадедушками бесчисленного множества мальчишек и девчонок.

Так пусть его покоится с миром, просто этому человеку не следовало даже ступить на пороги школы, любой школы вообще. Что за потеха была, когда на глазах целого класса — учителя неожиданные директорские визиты всегда заставляли врасплох — он заболел лишь о том, чтобы мы не заметили ненароком полосу нижнего белья под брюками: сидел и тут же вскакивал, тряс правой ногой!

Такую же самую шутку, помнится, проделывал мой коллега Уолтер Хастон, когда разговаривал с отъявленными хахунами, и я всякий раз покатывался со смеху, словно и не видел много лет назад этого трюка в исполнении Д. Д. Дэвиса. — только директор был исполнен благих намерений, а Уолтер Хастон тряс ногой, так сказать, по-журналистски, в порядке критики ближних...

В январе 1929 года, когда я вернулся в Сан-Франциско после четырехмесячной поездки в Нью-Йорк, на весь город нашелся лишь один писатель, в котором я хоть что-то слышал, и звали его Чарльз Колдуэлл Доуби. Я высмотрел его адрес в телефонной книге, черкнул ему несколько строк, и он ответил приглашением взглянуть как-нибудь к нему в «кабинет» на Монумент-стрит — годы спустя я узнал, что дом, где приоткрылся «кабинет» Доуби, известен старожилам под прозвищем Обезьянник.

Доуби занимал клетушку, где помещался только выдавший вид письменный стол, а на нем пишущая машинка испанских размеров.

Хозяин «кабинета» оказался похож на самого заурядного клерка, и ему было явно за сорок против моих двадцати.

«И это называется писатель?» — подумал я.

— Итак, — произнес он, — что же вас тревожит? Разумеется, это вовсе не подходило к случаю, но я решил по крайней мере проявить вежливость и сказал:

— Видите ли, я писатель, и мне давно хотелось спросить у другого писателя: «Если писатель становится настоящим писателем, может ли это ему помочь?» То есть я зарабатываю на жизнь другой работой, но мне не по душе делать эту работу, когда можно писать. Вот и все...

Он разглядел меня минуту-другую, а затем дружески поговорил со мной.

Его нет в живых, наверное, уже лет сорок, если не больше. Он умер довольно молодым и отнюдь не слишком известным, но он ответил на мое письмо и говорил со мной дружески и тепло. Потому я чту память Чарльза Колдуэлла Доуби.

З АЧАСТУЮ я многого не понимал. Забыв все, чему меня научил мой собственный горький опыт, я многие годы спустя вдруг заставлял в тупом недоумении — пытался вспомнить, удивлялся себе и смеялся над собой.

Боже, ну почему я всегда был таким дураком? Это случается с каждым или ты меня одного удостоил подобной участи? И если да, то почему? Потому что у меня врожденная склонность к дури? Или ты решил преподать мне урок? А если урок, то чему ты хочешь меня научить?

Вот и сейчас я стою и смеюсь над собой, потому что вдруг обнаружил, что не могу припомнить ни одного человека, который сразу, при встрече, заговорил бы со мной. Мне уже шестьдесят четвертый год, и за эти годы я встретил, день за днем, не менее миллиона людей. Так почему же я не способен выбрать хотя бы одного?

Чего я жду? Или боюсь, что за душой не останется ничего, о ком стоило бы написать? Ну, напиши хотя бы о Генри Миллере, одном из самых удачливых постановщиков модных пьес на Брод-

— Давай вернемся, поглядим еще раз.

Он сказал мне «поглядим», а не «послушаем». Во второй раз представление было еще лучше, но мы так и не купили книгу, которой торговал этот парень, хотя она и была уценена с одного доллара до двадцати пяти центов.

В САМЫЙ первый раз, когда я приехал в Париж, в апреле—мае 1935 года, на вокзале Сен-Лазар меня поджидал маленький хлопотливый француз, походивший скорее не на француза, а на англичанина или немца: он был толстенький и невероятно серьезный, словно мы оба ввязались в какое-то сверхважное дело, — может, статься, в шпионаж или в операции секретной службы, — и на голове у него красовался черный котелок.

Я давно выработал в себе способность определять издала, нет ли в толпе встречающих тех, кто встречает меня, и сразу приметил этого человека, сжимающего в руке клочок бумаги. Признаться, до той минуты я вообще не ведал, что меня будут встречать на вокзале, хотя в Саутгемптоне некто из бюро путешествий сообщил нас, шестерых или семерых, в одно купе лондонского поезда, а в Лондоне другой представитель бюро пересадил всю группу в автобус, который доставил нас в безымянную маленькую гостиницу, где ночлеги вместе с завтраком обошлись каждому, если пересчитать по курсу, доллара в полтора.

Такие уж были дни, как принято говорить. И я, как в анекдоте, тут же почувствовал себя богачом, миллионером.

А теперь, на парижском вокзале, объявился этот человек, выискивающий кого-то.

Я без колебаний направился к нему, и он спросил:

— Сароян?

Фамилию он произнес на европейский манер, то есть именно так, как ее и следует произносить.

Потом он заявил:

— Добро пожаловать в Париж. Вас ждет превосходная комната в отеле «Атлантик» на улице Лондр. Не возражаете, если мы пройдемся пешком?

У меня был всего один чемодан, который он счел своим долгом подхватить, и мы, выйдя на улицу, двинулись в отель. И мне даже в голову не пришло, что наша пешая прогулка сулит ему небольшой барыш, — наверное, в пределах полудоллара, — ведь ему были выделены деньги на такси.

Человечек привел меня в отель. Комната мне понравилась, и он уведомил меня, что мой поезд на Вены отправляется завтра утром, в самый удобный час, а в Вене меня снова встретят и доставят в отель.

— Я приду завтра утром, за час до отъезда, — сказал он и поклонился, приподняв котелок.

И я подумал: «До чего же здорово быть знаменитым! Просто как в кино. Вот я путешествую по свету, и меня посеместно принимают с почестями, люди улыбаются мне, вглядываются в фотографию на моем паспорте, а потом мне в лицо и старательно вносят мое имя в регистрационные книги, понимая, отдавая себе отчет, что это не просто имя, а имя известное, принадлежавшее гражданину вселенной, человеку искусства, писателю, наблюдателю, мыслителю, одному из бессмертных. Мне».

Я поддразнивал себя — полушутя. Я ощущал одновременно ликование и почти полное изнеможение: меня давно терзает склонность бурно реагировать на всех и на все, с кем и с чем я ни сталкивался. В тот миг на меня навалились разом долгие дни океанской качки, часы прогулок по Лондону, толпы людей на пароме через Ла-Манш, в поезде, на вокзале, на парижских улицах — все эти люди, все эти сцены нахлынули на меня с неодолимой, сокрушительной силой, какой я до того не замечал никогда, хотя что-то подобное, пусть в меньших масштабах, случалось со мной и раньше.

Мне не раз доводилось видеть людей, которые, кто больше, кто меньше, напоминали человека в черном котелке, встречавшего меня на вокзале Сен-Лазар, и я неизменно считал их своими друзьями, хоть каждый из них по натуре чуть-чуть мошенник.

Перевел с английского А. ИВАНОВА и К. СЕНИН

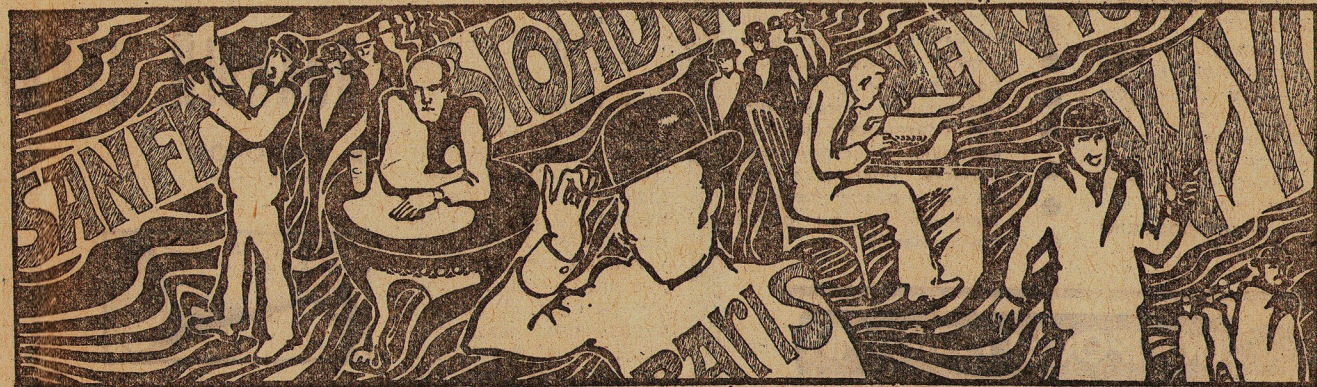


Рисунок В. ИВАНОВА

Беседу вел Зорик БАЛАН